РАЗДЕЛ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Когда мы с “товарищем Маевским” въехали в село, он проснулся и приказал мне остановиться возле сельсовета. Первому же милиционеру, которого мы встретили, он заявил, что я арестован, и приказал посадить меня в тюрьму.

После вывоза кулаков хату моего дядьки Гаврила превратили в помещение сельского совета. Окружённая аккуратными дворовыми пристройками и роскошными деревьями, она выглядела очень привлекательно снаружи и была довольно просторная внутри, чтобы вместить всё сельское руководство. А то, что она и стояла в центре села, было ещё одной причиной, почему начальственный выбор пал именно на неё. Обустроившись со всеми удобствами в новой конторе, сельсоветовское начальство позаботилось и про доселе неведомую в селе институцию – тюрьму. Для неё наскоро переделали дядину кладовую, выбросив оттуда все причиндалы и сделав в стене отверстие вместо окна.

Оказавшись в этой тюрьме, я понял, что на меня ложится вина за попытку помочь “врагу народа” уклониться от “советских законов и воли трудящихся”. Когда мои глаза понемногу привыкли к окружающей темноте, я узнал своих тюремных товарищей: здесь сидело уже двенадцать односельчан. Почти все они были мне знакомы, а среди них и Дмитро, наш сосед и дальний родственник. Он, вспахивая колхозное поле, наткнулся лемехом на камень и надщербил плуг. Неважно, что такая напасть случалась довольно часто, бригадир сказал, что Дмитро это сделал нарочно, чтобы замедлить производственные темпы и уменьшить урожай в колхозе. Дмитро сначала принял слова бригадира за шутку. Но когда увидел, что тот говорит вполне серьезно, не удержался и ударил бригадира в лицо. Ну и из-за этого оказался под арестом.

Каких-то пять лет тому Дмитро женился на девушке-красавице, а через два года стал отцом. Это была самая счастливая минута в его жизни, говорил он мне. А теперь его счастью, а возможно и жизни, приходил конец.

Подобный случай довёл до тюрьмы и другого моего соседа. Он тоже пахал в поле плугом, а конь споткнулся и растянул сухожилие на ноге. И такое часто случалось, но "товарищ Черепин" был иного мнения. Он заявил, что сухожилие повреждено вследствие небрежности пахаря, и запроторил моего соседа в тюрьму, оторвав чуть ли не навсегда от больной жены и четверых детей.

Застал я здесь также отца моего приятеля-одноклассника. Я звал его дядькой Петром. В селе он был больше известен по фамилии Шост. Я не очень и удивился, увидев его здесь в тюрьме, потому что Шост принадлежал к тем, кто до сих пор отказывался записаться в колхоз.

Шост был бедняк и вообще в определённом смысле типичный украинский крестьянин тех времён. У него было примерно шесть десятин чернозёма, пара коней, корова, один или два кабана и штук пятнадцать курей, уток и гусей. Жил он в старой хате, да и хозяйственные его пристройки были не в лучшем состоянии. Сама хата была на две половины: в одной – кладовая для хранения зерна и прочих сельскохозяйственных продуктов, другая служила жилищем. Она состояла только из двух комнат. Передняя комната служила одновременно гостиной, кухней, столовой и умывальней. Вторая была спальней, в которой спала вся семья. Обстановка была простая и незатейливая. Там стояла длинная лавка вдоль одной стены, а в углу – стол с несколькими самодельными скамьями. На восточной стене висели образа, а на передней – несколько семейных фотографий.

Тогда редко у кого из крестьян можно было увидеть в хате настоящую кровать, не было её и у Шостов. Семья спала на широкой деревянной лавке и печи. Пол был глиняный, крыша – соломенная, стены побелены известью.

Шост никогда не держал батраков, потому что у него в хозяйстве работы хватало только для членов семьи. В малоурожайные годы ему приходилось ещё и подрабатывать, чтобы прокормиться с семьёй целую зиму. Он ездил в ближние города

и работал там на строительстве дорог или ещё где-нибудь, ночевал вместе с другими сезонниками в бараках, чтобы сэкономить из небольшой зарплаты и купить больше продуктов для семьи.

Весной Шост всегда возвращался к родному полю. Он верил в свою земельку, как в Бога. День и ночь он пропадал на поле и радовался, глядя, как доспевает урожай на его нивке. Но так или иначе, а хлеб у них на столе не переводился.

Будучи человеком порядочным, он, как и все украинские крестьяне, имел развитое чувство самоуважения и очень любил быть независимым – обе эти черты передались ему от казацких предков.

Когда большевики начали коллективизировать крестьянские хозяйства, Шост показал себя стойкой и непокорной личностью. Вступать в колхоз он решительно отказался. В течение нескольких поколений это поле принадлежало Шостам, и он надеялся передать его ещё и своему сыну, когда старость уже не позволит ему самому ходить за плугом. А потом эта земля будет принадлежать его внуку, и так оно и будет продолжаться, как испокон веков заведено.

На этом клочке земли Шосты пережили не одну войну и не одно чужевластие. Они вырастали на этой земле и отсюда расходились в широкий мир, порой уже и не возвращаясь назад, но всегда у них тлела мысль, что именно здесь их родной дом. Отказаться от своей земли Шосту было все равно, что и от жизни отказаться.

Чтобы его сломить, сельсоветчики и организаторы колхоза не останавливались ни перед чем. Самым мощным оружием в их руках было налогообложение. Они облагали его денежными и натуральными налогами. Когда Шост думал, что уже рассчитался, выплатив всё, что требовалось, на него налагались новые поборы, чтобы отобрать ещё большую часть того, что давала ему земля.

Наконец настал такой день, когда у Шоста уже не осталось ни денег, ни зерна на выплату налога. Тогда у него забрали коней, а потом корову, затем и инвентарь. А Шост – сломленный, но непокорённый – всё не уступал. Тогда пришли однажды люди в форме и арестовали его. Шоста объявили кулаком и, естественно, прилепили ему ярлык “врага народа”.

И вот теперь он сидел в тюрьме. Он просил меня, чтобы я продолжал дружить с его сыном Иваном, когда выйду на волю. Он был уверен, что меня выпустят, ведь я считался ещё несовершеннолетним. На тот случай, если какое-то горе произойдёт с его женой, он передавал просьбу к моей матери позаботиться об Иване и его доченьке Варке. Это были последние слова Шоста ко мне, которые он мог ещё выговорить. Потом я уже слышал только его тяжёлое дыхание и тихое всхлипывание.

Снаружи уже стояла темень, когда мы услышали звяканье ключей и голос милиционера, который вызывал по имени тех, кому принесли еду из дома. Лишь теперь мне открылась ещё одна трагическая сторона тюремного быта.

Когда я сказал, что проголодался, товарищи по камере объяснили мне, что я не получу никакой еды, если мне из дома не принесут. Мне также рассказали, что нет никаких предписаний о питании и других видах обслуживания арестантов. О еде и постели должны позаботиться сами заключенные. У кого была семья, тот мог надеяться, что ему принесут что-нибудь поесть, а одинокие были оставлены на милость сокамерников. Но тогда в селе было голодное время. Единственной едой, которую имели крестьяне, а значит и заключённые, – были овощи и фрукты.

Когда милиционер выдал все передачи и закрыл дверь, а камера снова утонула в темноте, я почувствовал, что не все арестанты получили ужин. Я тоже не получил его, да я и не рассчитывал, потому что знал, что моя мама ещё не узнала о моём аресте.

К счастью, я недолго пробыл под арестом. Где-то после полуночи меня разбудили и приказали убираться вон из тюрьмы. А снаружи ждала меня мама. По дороге домой она рассказала, что забеспокоилась, не дождавшись меня вечером с работы, и бросилась искать. Не так трудно было ей узнать, где я, труднее оказалось разыскать инициатора моего ареста – “товарища Маевского”. Наконец она нашла его у какой-то молодой женщины и стала умолять, чтобы он освободил меня. Но тот и слышать не хотел, повторяя всё время, что между несовершеннолетним и совершеннолетним “врагом народа” нет никакой разницы. Но мать не отставала от него, и, наконец, он согласился черкнуть записку милиционеру с полномочием выпустить меня. Маме по-

казалось, что Маевский сделал это, только чтобы похвастаться перед любовницей, какую полноту власти имеет он в селе.

Я рассказал маме об убийстве Василика и, посоветовавшись, мы решили, что завтра на рассвете мы с братом пойдём искать его тело, чтобы хоть похоронить по-человечески.

Это намерение было очень опасным для нас. Ведь Василик был сыном кулака, а политическая атмосфера в те дни стояла такая, что каждый, кто имел хоть какие-то отношения с людьми этой категории, сам считался кулаком.

Но мама не считалась с опасностью, которая грозила нам всем. Василика нужно было похоронить как следует, а там — будь, что будет.

За окнами ещё и не серело, когда мама разбудила нас двоих и дала нам последние указания. А когда мы уже выходили из хаты, запихнула мне в карман какую-то бумажку. Это, сказала она, молитва, которую нужно прочитать над могилой покойного, похоронив его. Она ещё и предупредила, чтобы я, когда прочитаю, сразу уничтожил бумажку, иначе быть беде, если найдут у меня это вещественное доказательство. Мама поцеловала нас на дорогу, и мы пошли выполнять свою печальную миссию.

Пока мы дошли до места, где Василика настигла смерть, наступило чудесное летнее утро. Небосклон на востоке сначала занялся красным заревом, а потом из него выкатилось солнце, похожее на огромный огненный шар. Пшеничные поля вокруг замерли в тиши, одни лишь перепёлки вызванивали утреннюю песню.

Василика мы нашли, недолго и искали. Тело его лежало невдалеке от дороги, среди высоких стеблей пшеницы. Земля вокруг пропиталась кровью, а всякие мухи, муравьи и насекомые вились над покойником и ползали по телу. Мы сразу же стали рыть могилу. Нелегко было это двум голодным подросткам — выкопать яму в твёрдом грунте, но мы всё же справились с этим. Одну стенку ямы мы сделали наклонной, чтобы легче было скатить в неё тело. На дно натрясли немного соломы. Тело завернули в дерюжку, захваченную из дома, и по склону осторожно стянули в яму. Потом быстро забросали тело землёй, сровняли яму и поставили крестик из двух палочек, который сделала мама. Я прочитал молитву, которую она дала, а потом, уничтожив бумажку, мы побрели домой с тяжёлой болью в наших сердцах.